

Т.Л. Рыбальченко

МАКАНИН И ЧЕХОВ:

ПРИБЛИЖАЯСЬ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Сопоставление романа В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» (1997) и рассказа А.П. Чехова «Палата № 6» (1892) возможно не только на основании близости изображаемого материала (психиатрической лечебницы, больных и врачей), но и на основании авторской отсылки Маканина к «претексту», к тексту классика, известному читателю и привлекаемому для полемического диалога со многими предшественниками. «Когда читаешь о психушках (или смотришь фильм), не покидает ощущение, что даже из простенького познавательного любопытства автор там не бывал. Ни разу. Все с чужих слов. <...> ...из кинухи в кинуху кочует некая абстрактная «палата номер шесть» где психи – это дебилы, рассуждающие, как профессора философии в легком подпитии. Чехов и был последним из русских авторов, кто видел стационарную психушку самолично. Остальные только повторяли, обслонявив его честное знание, превратив уже и самого Чехова в сладенький леденец, который передают изо рта в рот»¹.

В романе Маканина изображению больницы отдано много места. Первая диспозиция, в центре которой больной (Вени), врач (Иван Е.) и здоровый (Петрович, брат Вени) – главы второй части «Случай на втором курсе», «Братья встречаются», «Кавказский след». Вторая диспозиция, где здоровый человек становится пациентом и сопротивляется лечению – главы четвертой части «Зима и флейта», «Палата номер раз». Третья диспозиция – главы пятой части «Черный ворон» и «Один день Венедикта Петровича», где восстанавливается прежнее положение персонажей в изменившихся социальных условиях: государство декларирует отказ от насильственного исправления социума, андеграунд выходит в горизонталь общественной жизни, но психушка и залеченные больные остаются, врачи, служившие старой системе, получают повышение, а главный герой романа, отказывающийся получать за старые заслуги место в мнимом новом социуме, остается жить в прежней низовой, массовой жизни «общаги», социального андеграунда.

Психиатрическая больница вписывается в ряд «андеграундных» топосов: общаги, бомжатника, мастерских андеграундных художников – в пространстве столичного города, представленного в основном низовой жизнью (магазины, милицейские участки, квартиры), менее – топосами, представляющими социально значимую жизнь – московские

¹ Маканин В. Андеграунд, или Герой нашего времени. Роман // Знамя. 1998. № 1. С. 78. Далее текст приводится по журнальному варианту с указанием номера журнала и страницы.

Татьяна Леонидовна Рыбальченко – кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы XX века Томского государственного университета (г. Томск).

улицы времен перестройки, залы публичных заведений, где берет реванш диссидентская советская интеллигенция после государственного переворота 1991 года. Флигель дья сумасшедших в рассказе Чехова вписан в пространство провинциальной жизни (частная жизнь обывателей) и отличается от пространства города, а более того – от того, что манит обывателей за пределы города. Принципиально отличный от маканинского финал рассказа (смерть главного героя в потоке продолжающейся жизни) близок внешне противоположному романному финалу тем, что обнаруживает равнодушие потока жизни к личности, только у Маканина меняется форма социальной жизни, не структура, а соотношение мейнстрима и андеграунда, что создает иллюзию излечения общества, но сущность остается, остаются неисправимость утрат и вынужденное согласие с жизнью.

Впервые образ психбольницы как условной модели социума, спасающего человека и одновременно изолирующего его от реальности, следовательно, освобождающего от «долгого пути» познания и существования в неразрешимо противоречивом бытии, появляется у Маканина в повести «Долог наш путь»². Боковой сюжет о неискоренимом насилии (избиение буйных, мясные котлетки) теснится сюжетом о поисках избавления от зла и страданий путем отказа от разума, от честного сознания, путем ограничения зрения: отвернуться, выключить телевизор, подавить сознание – это способ избавления от трагизма существования, способ излечения от страданий, но не от большого мира. Так, герой повести, Илья Иванович, бежит от жестокого мира в психушку или принимает таблетку, позволяющую быть если не счастливым, то примиренным с реальной жизнью. Нет сомнения, что в этой повести Маканин уже учитывает чеховский художественный опыт в изображении психической болезни и ее лечения в социуме.

В рассказе «Палата № 6» (1892) мотив спасения от абсурда реальности важнее мотива социального насилия. Путь мелкого служащего Громова к страху перед жизнью, ведущий на обочину жизни, в закрытое пространство больничного флигеля (пространства *боли*, где мнимо избавляют от боли) лишь предваряет более важное для Чехова изображение сознания, утратившего иллюзии целесообразности жизни. Недостатки медицины не могут восприниматься как доказательство социальной критики, ибо избавление от страдания – иллюзия и путь к расчеловечиванию человека. Тому доказательство – история доктора Рагина, спасавшегося от мерзостей жизни в пространстве человеческой культуры, в жизни своего сознания, в создании того экзистенциального отношения к реальности, которое позволит

² Маканин В. Долог наш путь. Повесть // Знамя. 1991. № 4.

быть независимым от условий существования. Путь современного Диогена, путь стойка дискредитируется Чеховым, во-первых, как эстетически непривлекательный, во-вторых, как ведущий в тот же тупик закрытого пространства, в больничный флигель. Финал рассказа Чехова более трагичен, не столько потому, что герой его умирает, сколько потому, что умирает он от апоплексического удара, при приближении к подлинной сущности жизни – к ее абсурду: «Вот она действительность!» – подумал Андрей Ефимыч, и ему стало страшно. <...> Я пал духом... <...> Слабы мы, дрянные мы...»³.

Герой повести Маканина «Долог наш путь», напротив, перед смертью, в пограничной экзистенциальной ситуации, утратив подпорки иллюзий, обретает мужественное, трагическое сознание: он возвращается из больницы в прежнюю, неидеальную реальность и принимает ее неотменимость вплоть до принятия смерти, хотя и не отказывается от идеалов, не обнаруженных в реальности. При всем том Маканин следует той же ценностной парадигме, что и Чехов, хотя и парадоксально переворачивает ее. У Чехова задумавшиеся о реальной жизни персонажи отталкиваются от низкой реальности в вертикаль либо будущего (прогресс медицины, образа жизни создаст возможность оздоровления социума), либо вечности (созданные в культуре философские идеи, идеалы). На ту же вертикаль идеала ориентируется и герой повести Маканина Илья Иванович (имя отсылает скорее к диалогу с Л. Толстым, а не с Чеховым, к исследованию сознания, разорвавшего границы привычного, и типичного сознания). Илья Иванович предъявляет этические критерии к реальности, не принимая не столько ложь существования, сколько факты прямого насилия: насилие на улицах, по отношению к животным, войны. В авторской оценке герой не столько идиот, не столько особенный, сколько типичный этически мыслящий человек современности, только его нормы имеют более низкую планку: он не может переносить то, что обычные люди готовы принимать, скажем, насилие над животными, но он принимает меньшую степень («А капуста не больно?» – спрашивает его жена, готовя ему вегетарианскую котлету).

Этика может заставить человека сокращать насилие, зло, но прогресс сведется к скрыванию зла, к выведению его за границы знания, как произошло с отменой публичных казней, с выведением боен за границы города. К запрету на показ жестоких сцен по телевидению. Однако онтологическая природа зла не может быть исключена из существования, потому что материя рождается из распада и употребления наличной материи: колос питается зерном и почвой, дитя рождается и питается телом матери, ее страданиями. Экзистенциальная концепция Маканина предполагает знание, не отворачивающееся от «нулевого цикла», и Маканин восстанавливает архаическую модель амбивалентности жизни, неразрывности жизни и смерти, возвращения зерна в

землю. Совершенствование сведется к мистификации зла: такова модель истории в повести Маканина, где гипотетическое будущее вывело насилие за пределы цивилизации – в тайное поселение, где конвейер производит новую пищу, якобы синтетическую, а в конечном счете – синтезирующую расчлененные элементы живой жизни (в повести это выращивание коров и создание пищи, в которой уничтожаются свойства живой крови, убитого тела).

Психиатрическая больница настоящего отождествляется в повести с рафинированной цивилизацией будущего, где научились создавать искусственную онтологию: синтезировать энергию и материю, в больнице же создан мнимый островок гуманного социума, освобождающий от страдания, а по сути – от экзистенциальной ответственности личности за неисправимую онтологическую противоречивость. Повесть была создана еще в советское время, в ней проявился шестидесятнический опыт предельной правды, ответственности личности за собственное существование в единственно данной реальности Тут-бытия и даже за само Тут-бытие, неподвластное личности. Иной опыт существования принесли социальные изменения в России 1990-х годов, и этот новый опыт изменил интерпретацию шестидесятнической этики, прежде всего, опыта диссидентства, неучастия и духовной независимости.

В романе «Андеграунд, или Герой нашего времени» в судьбах персонажей, отброшенных на обочину (в подполье), маргиналов, представлен путь сознания, изначально отделенного от неидеального социума (диссидентское – не в значении участие в организованной социальной оппозиции, а в исходном значении – инакомыслящее). Такое презирающее низкую реальность сознание обозначено «агешным», то есть подземельным, ориентированным не вверх, не в будущее, а вниз и даже – брезгливо – в сегодняшний день, в здесь и сейчас. «Андеграунд» низовая, основная жизнь современных людей, потому что от неприятия (у интеллигенции) и равнодушия (у обывателей-горожан) к господствующей идеологии формируется оппозиция к любой культуре – к этике, к слову, к Богу – и набрежение эмпирическим явлениям жизни. Маканин диагностирует сознание постсоветского общества, хотя в центре разветвленной системы персонажей «герой нашего времени», интеллигент, не служивший системе. Традиционное романное выделение главного героя нарушается, однако, приемом зеркального удвоения, со/противопоставления судеб двух братьев (архетипический мотив близнецов): непечатавшийся писатель Петрович, отошедший от официальных эпистем и погрузившийся в толщу обывательской жизни, и залеченный в психиатрической больнице Веня, одаренный человек и нереализовавшийся художник.

Дискурс сумасшествия, болезни сознания и ее лечения, используется Маканиным и как обусловленный реальностью (карательная психиатрия в Советском Союзе – неотъемлемая часть жизни диссидентской интеллигенции 1960–1980-х годов), и как метафора в изображении последствий давления неидеальной реальности на окультуренное сознание, на сознание творческое, осложненное знанием идеа-

³ Чехов А.П. Сочинения: В 18 т. Т. 8. – М.: Наука, 1986. С. 121-122. Далее страницы этого тома указываются в скобках.

лов, которые не обнаруживаются в реальности. Прямая функция сцен в психбольнице и коллизий, связанных с болезнью и лечением, – исследование карательной медицины в советском государстве в борьбе за унификацию сознания общества. Одна из сюжетных линий иллюстрирует распространенный способ борьбы с инакомыслием (диссидентством, творческим андеграундом): умный и независимо мыслящий студент 1960-х годов по доносу признан антисоветчиком и, поскольку нет основания для наказания за противоправные действия, отправлен в психиатрическую больницу, где современные и совершенные препараты ввергли его сознание в детское безличное состояние, он навсегда становится обитателем психиатрической больницы. Другая сюжетная линия развивает противоположную ситуацию – в больницу (уже во время крушения советского тоталитарного государства) после психологического срыва, вызванного двумя убийствами, попадает андеграундный писатель Петрович и, найдя в психушке спасение от наказания, сопротивляется лечению, выходит из больницы, сохранив свое сознание.

Уже сказано, что главные персонажи Чехова вышли за круг бытового восприятия жизни, за круг быта, но в бытийном круге не обнаруживают смысла. Пограничность сознания Чехов обозначает, характеризуя Громова: в нем видны одновременно следы человека и сумасшедшего. Если у Громова есть симптом разрушения адекватного восприятия действительности – необоснованный страх перед всеми окружающими явлениями, то доктор Рагин, принятый за сумасшедшего его коллегами, не лишен адекватного понимания окружающей реальности, напротив, он трезво осознает обстоятельства и невозможность что-либо в них изменить. Например, невозможно при всех открытиях медицинской науки изменить что-либо в маленькой провинциальной больнице. Поэтому он создает свой мир сознания – мир книг и мыслей, умственную жизнь в чтении и в беседах с равными людьми. Бытовую, материальную форму жизни он отделяет от себя, не заботясь ни о своем теле и быте, ни об окружающих, о страданиях больных людей: «не следует мешать людям сходить с ума» [С. 80].

Маканин в феномене сумасшествия обнаруживает результат разрушения личности, не следствие прозрения бытийного абсурда, а результат насильственного выправления сознания до принятой нормы, результат либо лечения (Веня), либо сопротивления лечению, воспитанию, социализации, тайного, «подпольного», сопротивления нормам при внешнем следовании им (Петрович). В романе, как и в рассказе Чехова, акцент ставится не на нецивилизованных формах насилия над человеком, а на последствиях цивилизации – тотальное подавление инакомыслия, персонального сознания, делающего человека опасным для окружающих и приносящего страдания самому индивидуально мыслящему человеку.

Из этого следует важный аспект диалога Маканина с Чеховым – отношение к прогрессу, к его гуманистической цели: улучшает ли прогресс социум

и человека. Чеховский скепсис обострен у Маканина демонстрацией того, как совершенствование методов лечения (помощи) лишает человека собственной экзистенции, его «я сам». То, о чем мечтал Громов и чем восхищался Рагин, – достижения медицины и цивилизации в целом должны облагородить человеческую жизнь, через двести лет изменить жизнь, избавив от страдания людей, – у Маканина показывается как более изощренное насилие цивилизации над сознанием личности (совершенство препаратов делают интеллектуала существом, лишенным желаний и возражений, «роняющим говно» животным, потому что гуманные открытия оказываются в руках несовершенных людей).

Более конкретный аспект диалога с Чеховым – возможность существования в оппозиции, становлении личности в гордом (Веня) или мстительном (Петрович) возвышении над неидеальным социумом. Чехов более позитивно изображает тех персонажей, которые выходят за границы бессмысленного или стандартного существования, хотя и показывают безрезультатность, трагическую обреченность их прозрений. Маканин показывает парадокс – не живущий «выше» других не только будет залечен, уравнен социумом, но и сам деформируется, исказит собственные ценности в отстаивании своего я. Отвращение к реальности редуцирует критерии индивидуального сознания, создает этику «удара», ответного насилия над реальностью во имя сохранения Я. Граница добра и зла легко преодолевается в зависимости от ситуации и в зависимости от личных целей индивида. Так, врач ИЕ меняется, переходя из отделения тихих в отделение буйных: Петрович убивает двух людей, составивших угрозу не его жизни, а его чувству достоинства (кавказец оскорбил неуважением, Чубик может испортить репутацию).

Маканин следует за Чеховым, заостря мысль, что причиной насильственного лечения (наказания, изоляции, исправления) становятся выбор, воля и действия конкретных людей. Как судьбу Рагина решили его коллеги (Хоботова), друзья (почтмейстера), так и в судьбе Веня последствия имели узвленное самолюбие окружающих (сокурсников, следователя), профессиональное удовлетворение от достигнутого превосходства врача. Маканин сходится с Чеховым и в констатации не уникальности палаты больницы для мнимого лечения сумасшедших. Номер «б» ставит в ряд подобных палат, подобно тому, как слово «раз» вместо «один» указывает не столько на момент, сколько на «кратность, повторяемость какого-нибудь действия» (определение в словаре Д.Н. Ушакова).

Соотношение персонажей Маканина обнаруживает противоположное соответствие соотношению персонажей Чехова: писатель Петрович – современный вариант читателя Рагина (оба в литературе ищут критерии оценок жизни), тогда Веня – вариант Громова, только вместо страха в нем сформировали нейролептиками полное согласие; напротив, если признать современным Рагиным тихого Веню, то Петрович – вариант презирающего смирение Громова. В некоторой степени философия при-

нятия страдания, конформизм доктора Рагина, его бегство в книги можно соотнести с позицией отстранения, неучастия, непечатания писателя Петровича. Близко Маканину чеховское уличение доктора-интеллектуала в бытовой неряшливости и профессиональном цинизме, связанном с пониманием невозможности облегчить жизнь людей, что ставит под сомнение этику персонажа. Маканин усилил омассовление интеллектуала-диссидента, поселив его в общежитие, сделав «сторожем» общежития пространства, способным не только беседовать, но и следовать образу жизни обитателей тех квартир, в которые он входит. Рагин не хочет ни участвовать, ни наблюдать окружающую жизнь городка, Петрович же не только наблюдатель, но и участник общежитийной жизни, не чуждающийся ни любовных утех, ни убийства. Разница персонажей обнаруживается в сюжетной коллизии: хотя Маканин и создает параллель фабуле рассказа Чехова (навещающий больного становится пациентом больницы), параллель обнаруживает несходство. Петрович не врач, оказывающийся жертвой системы, которой служил, а жертва системы, вначале – добровольная и скрывающая свои претензии системе, а потом ищущая спасение в больнице от более сурового наказания за убийства. Очевидно различие фабулы и особенно значимо – финала: в романе основной ряд событий связан с сопротивлением Петровича лечению, в рассказе Рагин слабо и недолго просит позволить ему выйти из палаты; скорая смерть Рагина у Маканина заменена выходом из больницы, но и возвращением Петровича в прежнюю реальность (если не считать политических изменений, мнимость которых Петрович понимает, а потому остается в андеграунде и в новые времена).

Самое важное различие содержится в интерпретации *пути* Петровича к сумасшествию. Этот путь связан не с расширением сознания, как у Рагина, а, напротив, с закреплением своего Я, с проверкой своего сознания, утратившего бытийные критерии существования. Петрович совершает бытовое убийство, когда в бытовой сцене один из новых людей (не человек системы) не почитается с достоинством Петровича (кавказец демонстрирует презрение к бомжу, жителю общежития в лице Петровича, и Петрович отвечает ему ударом, но предварительно убедившись в отсутствии свидетелей). Эксперимент Петровича связан с проверкой вертикали – Бога, текстов русской литературы – и обнаруживает, что, утратив вертикаль, современный человек, снимает с себя ответственность за нарушение границы добра. Петрович констатирует это, наблюдая ситуативное поведение врача, Ивана Емельяновича: в отделении тихих он вежлив, полон внимания и сочувствия, в отделении буйных он готов к насилию без рефлексии, «у него сделалось другое лицо... <...> лицо собралось в кулак: человек перешел на другую работу, только и всего. ... Перешел, переступил на полу коридора незримую черту... Он просто не замечал в себе перемену. Он этого не знал (про подкожу волчьего рта)». Опыт понимания Ивана оказался важен и спровоцировал решительность самого Петровича перед убийством кавказца. Петрович понял

возможность ситуативной морали, морали, вытекающей только из своего Я: «лицо человека, вошедшего в себя наш век», честно готового и милосердного и наказывать, самоуверенно, «без чистилища отделить тихих и блаженных (агнцы) от буйных» [№ 1. С. 80].

Библейский дискурс не мешает более широко интерпретировать современную веру – веру в свое Я после опыта подавления Я социумом; это и есть реакция несвободной личности, загнанной в андеграунд, в подполье. «В былые века (рассуждал я) человек черту тоже пересекал, но по необходимости и мучительно: совершался тем самым прыжок в неведомое, от добра – к злу. От разделительной этой черты затанцевали все их мысли, законы и новшества. Танцы от «печки». От высокой мысли – к правильным правилам. А уж затем скошенные бытом (человеческие) правила были объяснены слабым умам как переход за знак устрашающего неравенства – за черту и обратно. Работа для великих, но и великие робели. Они объясняли плюсы и минусы. Меняли их знаковый вид, даже и совсем отрицали знаки, но при этом втайне и открыто – робели, не меняя саму разделительную черту ни на волос.

В том и разница. Дорожка стала торной. Нам, нынешним, их потуги, а то мучение, умозрительны. Мы понимаем эти мучения, но мы не мучимся. Наш человек с чертой на «ты». Ему не надо прыжков. Он ходит через черту и назад запросто – как в гости» [№ 1. С. 80-81].

Подпольный человек переворачивает вертикаль, как песочные часы, перешагивает границу добра и зла и возвращается в пространство действия законов, внешнего императива, скрывая от социума свое преступление, свое Я, не манифестирует бунт против социума, диссидентство его не абсолютно, это реакция на отторжение социума.

У Маканина нет чеховской трагической иронии парадокса, когда задумавшийся доктор сближается со своим пациентом, а не задумывающийся (Хоботов), исполняя свой долг, ставит диагноз болезни и приговаривает к лечению. У Маканина есть переворачивание положения, реванш аутсайдеров, агешников, но в современной цивилизации торжествуют функционеры (Хоботовы или Холины-Волины) и потому реванш мнимый, Рагины перевелись, профессиональный взгляд на действительность снимает вопрос о смысле жизни. Поэтому Маканин показывает «подпольность» писателя, инакомыслящего, обнаруживая в нем типические черты «нашего времени», утратившего Бога, Слово (то есть истину или мышление об истине). Вертикаль повернута не в высоту метафизики, а в подземелье, в андеграунд, в мир обесцененной реальности и обостренных претензий личности, которой пренебрегла реальность. Андеграундный человек презирает обычную жизнь, предъявляя ей претензии за собственную неостребованность, забота о сохранении своего Я становится главной целью, исключает мысль о бытии.

Талантливый и не реализовавшийся по вине обстоятельств Венья в романе Маканина может быть соотнесен, но не повторяет Громова, невольную жертву антигуманной реальности. В Громове под-

черкнуты тонкость и возвышенность: тонкие черты лица «разумны и интеллигентны», «в глазах теплый здоровый блеск» [С. 74]; предупредительность Громова (всем желает доброго утра и спокойной ночи) доведена Маканиным до постоянного «кивания» согласного со всем Вени. Молодой студент-шестидесятник Маканина и персонаж Чехова близки осознанием превосходства над людьми: Громов деликатен, но раздражителен, «о горожанах отзывался с презрением», «их грубое невежество и сонная животная жизнь кажутся ему мерзкими и отвратительными» [С. 76]. По характеристике Петровича его брат всегда был выше других, и все замечали его превосходство, его «гордыню».

В отличие от самоуверенного (до лечения) Вени, Громов одержим манией преследования: «Он всегда возбужден, взволнован и напряжен каким-то смутным неопределенным ожиданием. ... Не за ним ли идут? Не его ли ищут?» [С. 74]. Мания преследования не обоснована, общество терпимо относится к идеалисту: «В городе, несмотря на резкость его суждений и нервность, его любили и за глаза называли Ваней» [С. 76], тогда как современное общество сводит счеты с более талантливым и умным человеком. Веню *делают* сумасшедшим, лишая рассудка в процессе лечения. Его путь в больницу связан не с изменением его сознания, а с желанием окружающих – сначала сокурсников, потом следователя – проверить силу личностного сознания уверенного в своем превосходстве человека. Веню залечили врачи, спасатели человека от социального наказания, послали его в больницу служить системе. Следователь у Маканина предстает не как исполнитель социальной идеи, или идеи порядка. Он не сторож Никита (у Чехова), а человек, пестующий свое Я и столкнувшийся с нравственным превосходством другого (высокомерие и ум в улыбке Вени побудили следователя сдать Веню врачам, чтобы стал согласным, чтобы «кивал» и «ронял говно»). Веню подвергли лечению и его инакомыслящие, сокурсники, «настучавшие» и приписавшие ему едкие карикатуры. Сокурсники поверили в пущенный, возможно, тем же следователем слух, что Веня «наследил», стал сотрудничать с властью. Потом, когда Веня перестал быть собой, превратился в «кивающего» старика, не помнящего своих «молниеносных» портретов, агешники создают миф о гениальном Венедикте Петровиче, о жертве системы, издадут альбом иллюстраций его рисунков (потому что это стало можно в новой системе). Этот миф нужен им для мифологизации своего поколения, для самовозвышения.

Судьба Вени обнаруживает полемику Маканина с романтическим мифом о возвышающем духовном сопротивлении. Плата за сохранение достоинства может быть разрушительной, формирующей если не волю к подавлению, то гордыню. Веня сломлен как личность, превращен инъекциями в биологическое существо, при этом его лечат от несогласия, от неудовлетворенности, от страданий. Критики ухватились за его «я сам»: дважды он выражает свое прежнее сознание – быть выше, не в стае, не в коллективе. Первый раз – после избивения,

когда он находит силы выйти из машины и самостоятельно дойти до больницы; второй раз – в финале, когда он вынужден возвратиться в больницу и Петрович тащит его, обманом заставляет идти, а при входе в больницу санитары берут под руки и тащат его, «роняющего говно» и бормочущего «я сам» [№ 4. С. 116].

Мания преследования и обостренное чувство опасности окружающей действительности, отличающие Громова, Маканиным отданы Петровичу, особенно после второго убийства, когда он оказывается на грани сумасшествия. Близка Громову потребность Петровича в слове, в говорении: Громов понимает, что никто его не слушает, но «желание говорить берет верх над всякими соображениями, и он дает себе волю и говорит горячо и страстно. Речь его беспорядочна, лихорадочна, как бред, порывиста и не всегда понятна, но зато в ней слышится, и в словах, и в голосе, что-то чрезвычайно хорошее. Когда он говорит, вы узнаете в нем сумасшедшего и человека. ... Говорит он о человеческой подлости, о насилии, попирающем правду, о прекрасной жизни, какая со временем будет на земле...» [С. 75]. Петровичу же нужно выговориться о себе, вернуть собственный нравственный императив в словах. Он убежден, что не было бы срыва сознания, рассказы он о преступлениях Натэ, и в горячечном состоянии он проговаривается санитарам о преступлении. Но в финале тождество с Громовым, как и с Рагиным, снято: Петрович преодолевает страх, выходит из больницы, но сознание его не обрело абсолюта, осталась возможность перехода через границу и возвращения в круг прежней жизни. Бесстрашие Петровича – это приоритеты Я, не сдерживаемые заботой о бытии. В этом же ключе прочитывается завязка романа: в наступившие новые времена постсоветской действительности Петрович возвращается в психушку навестить брата, встречается с одним из своих врачей, с пониманием относится к карьерному росту залечившего Веню Ивана Емельяновича и берет брата на один день к себе в общагу. Праздник кончается, и Петрович сам отводит брата в больницу, несмотря на его просьбу еще хотя бы день оставить рядом с собой. Границы милосердия остались узкими – только на встречу, на краткое время страдания.

В связи с этим следует сказать о развитии темы страдания и стоического принятия страдания, важной в рассказе Чехова и не менее – в романе Маканина. У Чехова проблема страдания и стоического принятия бытия, смирения и упования на прогресс становится предметом философского спора персонажей. У Маканина философский диспут редуцирован, во-первых, потому что диалог врача и посетителя (Ивана Емельяновича и Петровича) ведется по правилам, где понимание сведено к снисходительному согласию и утаению истины, а диалог врача и пациента превращается в следственный допрос, в подавление сознания пациента; во-вторых, потому что философствование опасно подозрением в высокомерии, люди общаги принимают исповедь, покаяние в грехах, мирящее собеседников, но не поиск истины; в-третьих, два центральных персонажа не

могут вступить в равный диалог, потому что сознание Вени разрушено.

Тем не менее, Маканин продолжает чеховскую тему принятия или сопротивления страданию и в рефлексии героя-повествователя, и в сюжете. Чехов тоже сюжетно подтверждает правоту Громова в неприятии очищающей силы страдания: «А презираете вы страдания и ничему не удивляетесь по очень простой причине: суета сует, внешнее и внутреннее, презрение к жизни, страданиям и смерти, уразумение, истинное благо, – все это философия, самая подходящая для российского лежебока. <...> Удобная философия: и делать нечего, и совесть чиста, и мудрецом себя чувствуешь...» [С. 103]. Рагин проповедует презрение к мерзостям жизни и к страданиям – собственным, но и окружающих людей. Путь индивидуального равновесия, стоицизм приводит не только к попустительству злу, но и к сотрудничеству с насилием: «Когда общество ограждает себя от преступников, психических больных и вообще неудобных людей, то оно непобедимо. Вам остается одно: успокоиться на мысли, что ваше пребывание здесь необходимо» [С. 96] (добавим: и надеяться на лучшие времена). Стоицизм Рагина соединяет и позицию Диогена, отвергающего наслаждение несовершенным миром, и упование на человеческий разум, прогресс (открытия медицины, способные потеснить в будущем зло и страдания): «Свободное и глубокое мышление, которое стремится к уразумению жизни, и полное презрение к глупой суете мира – вот два блага, выше которых никогда не знал человек» [С. 97].

Рагин ссылается на Марка Аврелия, говоря, что важнее для человека – отношение к жизни, а не сила воздействия жизни, что мудрый человек презирает страдания. С этим не может смириться Громов: «Страдаю, недоволен и удивляюсь человеческой подлости» [С. 100]. По его представлениям, природой дана человеку реакция на окружающий мир: «Органическая ткань, если она жизнеспособна, должна реагировать на всякое раздражение. И я реагирую! На боль я отвечаю криком и слезами, на подлость – негодованием, на мерзость – отвращением» [С. 101].

У Маканина идея отказа от страдания и презрения к страданиям другого человека проявляется как идея удара, активной защиты от насилия, внушаемая Петровичем брату, а на самом деле – самому себе. С другой стороны, Маканин говорит о значении погружения в материальную жизнь, о значении страдания не как очищающей силы, а как источника для сострадания, для экзистенциального чувства ответственности за бытие.

Сопротивление злу – это право на сопротивление другому человеку как источнику насилия: следователь отправил в больницу, уязвленный превосходством Вени, доктора уколами подавили сознание Вени не только потому, что они хотели насилия или исполняли волю системы, но и из профессионального желания превосходства. Прямое, грубое сопротивление Вени, отсутствие сочувствия и сострадания, как предполагает Петрович, спасли бы Веню; за удар следователя его бы осудили, но не подавляли бы его сознание.

Идее удара в романе противостоит идея прикосновения. Сопротивлению противостоит контакт с жизнью, бесчувственности – чувственность, отдаленности – связи.

Так, в больнице, «колющие» медсестры сочувствуют (Вене и другим) и спасают не инъекциями (дарят ласки Петровичу и другим больным). Нерассуждающее женское милосердие не останавливает от участия в подавлении чужого сознания, они верят в целительность уколов, в пользу насильственного излечения, но у них есть элементарный, телесный способ спасения живого. И сам Петрович использует женщин из общаги для того, чтобы сделать праздник, дать Вене возможность краткого телесного наслаждения, а не наслаждения мыслью, как хотел бы герой Чехова. И это тоже жизнь, соглашается с Веней Петрович, признавая ценность элементарного биологического существования. Но наслаждение, как и сострадание, проявляемое инстинктивно, ограничено, не становится принципом любви к жизни: медсестры «лечат», Петрович отводит брата в больницу, засовывая ему в рот успокоительную таблетку, когда Вени просит остаться еще на некоторое время у него в гостях. Сострадание временно и ритуально: сам Петрович признается, что не о чем говорить посетителям с больными – каждый раз сам он повторяет одни и те же фразы, компенсирует душевную отдаленность приношением продуктов, кормлением, опять-таки биологической поддержкой. Врачи находят оправдание подавлению сознания пациентов в том, что они спасают, успокаивают, уменьшают страдания, побуждают принять действительность, сменив отношение к ней. Так обосновывается право на насильственное исправление, на сострадание вопреки согласию страдающего, несогласного. Дружное кивание больных в палате номер раз, согласие, близкое состоянию счастья, – ироническое опровержение мысли Марка Аврелия о победе над страданиями сменой отношения к ним. Важно, что, спасая от болезненной реакции чутких и выходящих за нормы, врачи охраняют людей от удара несогласных, инакомыслящих. Так обосновывается право социума на нейтрализацию различного и личного: действительно, стихийный бунт вышедшего за нормы человека страшен и безобразен, и Маканин подробно показывает это во время беснований Петровича в бомжатнике, где только вмешательство милиции и больницы спасло и самого Петровича, и окружающих.

Трагическая ирония Чехова усилена Маканиным – несовершенное общество требует совершенствования, несовершенный человек нуждается в насильственной помощи, но всякое совершенствование приводит к насилию, потому что субъект лечения – несовершенный человек, подпольный человек, претендующий на защиту и реализацию своего Я, на несогласие с неразумным бытием. Но если крик Громова – реакция на несовершенство жизни, то крик маканинского героя, Петровича, – это выражение самосознания, свидетельство наличия своего «Я». Нейролептики снимают телесную боль, создают близкое стоическому наслаждение, а боль, вызывающая крик, – это свидетельство своего несовпа-

дения с бытием, не только сопротивление давлению реальности, но и сопротивление собственному неверному поступку. Крик Петровича в бомжатнике – это прорыв молчания, отсутствия слова, самоанализа, выход из стоического равновесия. Наконец, крик может быть реакцией на боль другого, на унижение, которое вызывает не смирение и не презрение, а сострадание. Так Петрович реагирует на крик больного, избиваемого санитарями.

Сострадание и защита своего Я ведет к философии удара. Удар – антиномия крика, он бессловесен и результативен. Для Петровича удар – спасение: бросившись на санитаров, избивавших больного, он оказался избит, переведен в другую больницу, стал обычным больным («бумажным»), и после излечения от травм его отпускают. Но сюжет опровергает философию удара, уподобляя защищающегося нападающему, сопротивление – агрессии. Есть градация в двух убийствах Петровича. Если в убийстве кавказца он находит этическую мотивацию (защита униженного Тетелина), то убийство Чубика – это акт самосохранения от опасности испортить репутацию иннакомыслящего. В романе именно жертва предлагает альтернативу удару: Веня напоминает Петровичу о подоплеке философии удара, о «гордыне», о стремлении подавить человека, стоящего выше, унижить его, стать господином над ним. В гордыне есть возвышение Я, а не утверждение сущности, в ударе – сведение человека к телесному существу. Удар и укол – это подавление сознания другого человека, альтернатива – прикосновение.

Освобождение от страдания более опасно, чем неуравновешенная – с переходной границей добра и зла – реакция на воздействие мира. Петровича психушка спасает не только от тюрьмы после признания двух совершенных убийств, но и от мук совести. Любое лечение – посягательство на личный императив. Когда нет Бога в душах, личных абсолютов, общество навязывает этику, но личный императив не создается ни культурой (Петрович не пишет свои, но проверяет чужие тексты; чужое знание границы между добром и злом), ни воспитанием-лечением. Переход через линию между добром и злом делают и врачи, и пациенты.

Петрович способен на нравственный эксперимент в духе Раскольникова, проверяя, имеет ли он силу защитить себя от Вениной судьбы, а потом убивая для своей репутации стукача. Затем писатель Петрович ищет спасение в словах, в выговаривании своей вины, в исповеди перед Натой-флейтисткой, соседями в бомжатнике, убийцей Чуровым. Того же добиваются и врачи, разрушая самосознание Петровича инъекциями, доводя его до чувства вины, лишая сопротивления. Маканин отклоняет вариант раскаяния героя, что характеризует современное сознание, лишённое абсолютной этики, но не лишённое нравственного чувства: со-чувствия жизни, внимания к жизни, но не любви к жизни. Это самосознание уязвленного «подпольного человека», с которым не считается жизнь.

Маканин показывает эволюцию андеграундного сознания. В шестидесятые был страх перед карательной силой государства при презрении к нему,

что сформировало (подобную Вениной) демонстрацию превосходства. Опора андеграундного человека на личностное породила желание возвыситься и отдалило от жизни. В восьмидесятые и начале девяностых вернулось понимание ненужности в новых унижающих условиях, где человек не вступает в поединок с явным и сильным противником, а тайно наносит удар всякому, кто посягает на его право и достоинство, человек уходит в нравственное подполье. Судьбы братьев, Петровичей, представляют не только разные результаты столкновения личностные с нормами социума, но и разные исторически типы поведения. Идеалистическая гордыня Вени посрамлена тем, что природа человека неидеальна, и общество, опираясь на материалистическое понимание человека, превращают Веню в существо без Я, без интеллекта: «и это тоже жизнь». Петрович же – вариант биологического, агрессивного сопротивления умалению своего интеллекта; следуя закону естественного отбора, он сознательно погружается в толщу жизни; он сторож той жизни, которая отвратительна чеховским персонажам. Выбор старшим Петровичем существования не выше, а на обочине обыденной жизни переводит трагедию в низкую драму, а неисчезнувшие претензии личности к жизни проявляются в идее «удара», агрессивного сопротивления. «Понижение» провоцирует легкий переход через границу добра и зла.

Позиция андеграунда опасна отождествлением с низами, поэтому в психушке не получают интеллектуальные философские беседы, подобные спорам персонажей Чехова. У Маканина врачи и пациенты говорят о политических событиях, думают о возможности встречи с медсестрой, заняты ловлей друг друга на преступлении: Петрович открывает, что Иван залечил Веню, а врачи догадываются о преступлениях Петровича. Разница между врачами и пациентами только в том, что Петрович может, но не предьявляет Ивану моральные обвинения, а врачи готовы (и обязаны) сдать Петровича для наказания за реальные преступления. Поэтому пациент сопротивляется исповеди, признанию, навязываемому ради облегчения его души: Петрович старается не разговаривать, не признаться, то есть, он избирает способ, противоречащий его собственной потребности исповедаться, восстановить определенность границы между добром и злом. В больнице же он упорствует, чтобы не признаться врачам, но тем самым сопротивляется собственному этическому чувству. Неразрешимый парадокс: социальное сопротивление разрушает личностную мораль, а внешний императив провоцирует на такое сопротивление.

Сюжет Петровича полемически направлен к трактовке интеллигента, мыслящего человека как духовно возвышающегося над бессмысленной материей жизни. Погружение в телесную жизнь, сохранение чувственности – это не негативный процесс, а возвращение к естественной амбивалентной природе человека. Возвращая себе способность чувствовать, не заглушаемую нейролептиками, Петрович сохраняет и способность со-чувствовать, ударом защищать не только себя, но всякий феномен больной жизни, неразумного человека. Выход из боль-

ницы в прежний способ существования, неизлечимость Петровича, тоже не могут быть истолкованы только негативно. Он выходит из принудительного совершенствования, не возвышаясь над потоком современной жизни, но сосуществуя с ней. Петрович не принимает торгашеские, а не идеологические времена и возвращается в общагу для доживания. У Чехова Рагин умирает от апоплексического удара, исчерпав иллюзию, что можно жить в мире своего сознания: книг, бесед, размышлений о приближении к идеальному будущему: «Неужели здесь можно прожить день, неделю и даже годы, как эти люди? <...> Вот она действительность!» – подумал Андрей Ефимыч, и ему стало страшно» [С. 120-121].

У Маканина Петрович остается жить и живет без философии «удара», в отличие от чеховского Громова, мечтавшего о реванше: «Проклятая жизнь! ... И что горько и обидно, ведь эта жизнь кончится не наградой за страдания, не апофеозом, как в опере, а смертью; придут мужики и потащут мертвого за руки и ноги в подвал. Брр! Ну ничего. ... Я с того света буду являться сюда тенью и пугать этих гадин.

Я их поседеть заставлю» [С. 121]. Постаревший Петрович понимает невозможность возмездия как цели существования, он делает экзистенциальный выбор, не примиряясь, но отказываясь от сведения счета с жизнью, создавая маленькие праздники – «один день зека», один хороший день несвободного не только социально, но и бытийно человека. Поэтому остается в психушке «двойник» Петровича – согласный и утративший разум Веня, которого заботливо берут под руки санитары, потому что он безволен, как этого хотели оскорбленные Вениной «гордыней» люди.

Диалог Маканина с Чеховым, фиксируемый конкретными схождениями материала, сюжета, системы персонажей, конечно, выходит за границы элементов художественного текста. Можно говорить о влиянии чеховского неутопического и неиллюзорного сознания на сферу идей современного писателя. Влияние проявляется не только в следовании или развитии, но и в полемике, объясняемой исторической дистанцией, прояснившей надежды и обманы прошлого.